

1.147

НИКОЛАЙ
МАЙОРОВ



МЫ

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТОК
СРОКОВ ВОЗВРАТА

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Кол-во пред. выдач.

14/XI-94-262

Шероши

19/XII - 191410

29/4001584

23/05-190612

22/5-06-2600

3.04.10-23681

5.12.11-32680

3 ТМО Т. 3600000 3. 1425-91

М. 147



НИКОЛАЙ
МАЙОРОВ

МЫ

Издательство
ЦК ВЛКСМ
«Молодая
гвардия»
1972

147.541

Майоров Н. П.

М 14 Мы. Серия «Имена на поверке». М.,
«Молодая гвардия», 1972.
64 с.

Сын простого ивановского рабочего Николай Майоров до войны учился на историческом факультете МГУ и одновременно посещал занятия в Литературном институте имени А. М. Горького. Осенью 1941 года Николай Майоров пошел добровольцем на фронт и пал смертью храбрых.

Николай Майоров — один из наиболее самобытных поэтов предвоенного поколения. Стихи его отмечены ярким жизнеутверждающим талантом, пронизаны лирикой больших чувств. Он писал о любви, о подвиге, о своем поколении.

Судьба поэта, судьба поколения слились в стихах Николая Майорова воедино.

В этой книге собраны лучшие из немногих дошедших до нас стихов Николая Майорова.

7—4—2
310—72



P2

ПАМЯТИ ОТВАЖНОГО ДРУГА

Каждый раз пишешь и думаешь о Николае Майорове с глубокой болью. Очень тягостно ощущаешь эту утрату для нашей поэзии, для литературы, и слишком горько отзываются в душе встающие воспоминания.

Листаешь давно знакомые его стихи и вновь убеждаешься: во многом он шел впереди своих литературных сверстников. Дарованию Николая Майорова были доступны в первые же начальные годы его работы такие рубежи, какими его погодки в поэзии овладели уже потом, в более позднюю пору. И, будто слитки серебра, вот уже не одно десятилетие мерцают и живут в моем сознании метафоры, строфы и целые стихотворения этого лишь начинавшего свой путь, почти не печатавшегося тогда поэта.

Стихи Майорова — не просто внешняя завязь, не только блестящие и задатки пробуждавшегося таланта. В них отчетливо проступает характер, обрисовывается всеми своими гранями личность, индивидуальность, в них чувствуешь определенную художественную природу. Неукротимый лирический напор, буйный ливень образов и ассоциаций, косматый, порой до хаотичности разбросанный их поток — и тут же изумительно отлитая, свежая, достойная пера первоклассного опытного поэта, емкая, пружинистая формула. Она сверкает, как сталь ножа, и бьет неотразимо. В стихах Майорова всегда горячая, от сердца идущая мысль, нашедшая энергичное движение, и особая палитра — та размашистая, густая и плотная живопись, которую называют в изобразительном искусстве пастозной.

...Он говорил, чуть окая, глуховато, неторопливо. Откидывал со лба русые прямые волосы, мягко и вдумчиво взглядывая на собеседника серыми небольшими глазами. Ничего броского, ничего необыкновенно-

го во внешности. Крепкий, довольно высокий паренек с угловатыми плечами, удивительно скромный, но и с твердым чувством внутреннего достоинства, по-своему очень серьезный, верный на слово товарищ. Был необычайно работоспособен; постоянно размышляя о стихах, своих и чужих, успевал отлично учиться, не один год совмещая учебу на историческом факультете МГУ с занятиями в Литературном институте. Эта его деловитость и собранность была тоже очень органичной, внутренней, в ней не было ни малейшего привкуса суетливости или нахрапа. Никогда не высказывал вперед, не захватывал инициативы, не старался блеснуть попусту. А между тем напечатанные им в университетской многотиражке стихи завораживали своеобразной, четкой и живописной образностью, оригинальным тембром. В них проглядывала настоящая зрелость.

Осенью 1937 года впервые подошел я к Николаю Майорову и познакомился с ним. Был я на курс старше Николая, никаких обычных для студентов дел у меня к нему не было — я смотрел на него как на поэта. Скоро мы знали друг друга близко, нас связывало многое...

Остановит, бывало, поздним вечером в коридоре студенческого общежития на Стромынке, возьмет под руку: «Послушай, как у меня получилось» и с напором, с упругим взмахом сжатого кулака читает напряженную, круто замешенную, сочащуюся красками строфу.

Ночью, у обледеневшего темного окна, за которым скрежетали, затихая, самые поздние вагоны трамвайного парка, читал он поразившее меня стихотворение о селе Михайловском: там были тлеющие угли камина, там ставилось «слово на ребро», и Пушкин негритянскими губами трепал гусиное перо. Я и сегодня, сию минуту, явственно слышу майоровский голос. Любил Николай читать перед товарищами своего «Гоголя»: видимо, в нем было что-то дорогое автору. В этом дважды появляющемся в стихотворении чудесном блюде с водой, в табурете, в набухшем клине тьмы говорило пристрастие Майорова к земной вещности образа. Если бы поэт, когда-то вернувшись к стихам о Гоголе, чуть проявил их логическую почву, то мотив трех противоборствующих и сплетающихся стихий —

дневного света, темени и вспышек горячего очага — обрел бы замечательную глубину.

Как-то осенью, после каникул, привез он из Иванова в Москву свой «Август» с «бабочкой на раме», с чисто языческим ощущением земной влаги и трав... На моих глазах рождались стихотворения «Волк», «В солдатчине», «Баллада о Чкалове». Когда пришла весть о гибели богатыря-авиатора, стояли трескучие морозы. Мы, студенты на Стромынке, были опечалены. Ощущение страшной, гнетущей стужи сливалось в те дни с ощущением народной беды. Возможно, Николай даже видел Чкалова, как однажды в клубе Московского университета на улице Герцена видел его я. Не раз он принимался за стихи о летчиках: ведь в военной авиации служил его старший брат, а однажды на окраине Иванова разбился самолет, и Николай, по свидетельству Владимира Жукова, был на похоронах, смотрел, как летчики возлагали на могилу погибших товарищей искореженные ударом о землю винты самолета. Помню Майорова, читавшего стихи о детстве, где перемешаны, соединены — с сильным стремлением типизировать — его сельские и городские впечатления, крестьянский обиход был привычен Майорову, ибо самая ранняя пора его жизни прошла в деревне. Осталась в памяти майоровская строфа, примыкавшая к этим стихотворениям, так ни в каких записях и не найденная:

Сваты топали ногами,
Ела теща пироги.
У невесты под глазами
Стыли синие круги.

Будто некое чудо выслушивал я стихотворение «Изба». Шесть первых его строф ошеломляют меня и ныне: такая в них художественная отвага, самостоятельность, такой вьюжный северный ветер.

А вот перед глазами майоровские опыты совсем другого характера, другого тембра. Это «Стихи про стескольщика», «Как воруят небо», «Париж весной 1940 года». Как тревожили московского студента, казалось бы, еще столь далекие в те месяцы от нас события евро-

пейской войны, и какие он сработал крепкие — в пору зрелому писателю — вещи. В рассказе Майорова о любителе-астрономе, который «занимается небом», роясь «в еще не остывших звездах», проявились и сильное воображение и задатки поэзии эпического склада. Николай уже трудился над поэмой о ваятеле (толчком к работе послужило знакомство со скульптором Цаплиным), раздумывал о стихотворной повести из сельского быта — сохранившийся отрывок «На третьей полке сны запрещены», где вагон сравнивается с поставленной на колеса избой, идет именно от этого замысла.

Майоров упорно учился поэзии. На столе студенческой комнатухи (студенты-историки, жившие с ним вместе, койка к койке, любили его и как-то очень деликатно, я бы сказал, скрытно гордились им) рядом с латинской грамматикой лежали изданные в 30-х годах однотомники стихов Тихонова, Прокофьева, Пастернака, Антокольского. Бывали у него, как у всякого юноши, свои внезапно возбуждавшие дух литературные открытия. Вспоминаю наши прошитые цитатами разговоры о Державине. Помню, например, как горячо внушал он мне, насколько ярка, хороша сатирическая проза Крылова, в ту пору для меня неведомая: брал в руки книгу и читал вслух страницы крыловских повестей...

В университетском литературном кружке, где с нами работали Евг. Долматовский и Д. Данин, Николая кое-кто упрекал: мало, мол, в твоих стихах воздуха, мешает им некая тяжесть громоздкой золоченой рамы. Знатоки вспоминали при этом Павла Васильева.

Прошло огромное время, и теперь ясно видно: «воздух» в стихах Майорова есть — это грозовой, все сгущавшийся воздух предвоенных лет, уловленный и запечатленный рукою юного мастера. А образный строй стихов Майорова, майоровские краски не теряются и не тускнеют, даже когда окидываешь взглядом всю богатейшую советскую поэзию.

В стихах Майорова очень часто встречаешься с травами и деревьями, с ливнями, которые «ходят напролом, не разбирая, где канавы»; там «по крышам ползут лавинами дожди»; почвенная живительная влага у него «с запахами вин». Это голос Верхнего Поволжья, голос ивановской земли, где поэт вырос. А постоянная

нота «кочевья», вагонов, вокзальных расставаний — как бы мост, соединявший ивановского юношу со столицей, с университетом. Весной, сдав экзамены, мы, студенты-провинциалы, поспешно разъезжались до осени по своим городам и весям. Только уж, наверное, в октябре, сбившись в стайку вокруг Даниила Данина в боковой камерке университетского клуба, читали сочиненное за лето. «Мне бы твою Сибирь!» — говаривал Николай; мое сибирское стихотворение «Собаки» нравилось ему, он любил его слушать.

Всматриваюсь в его строки: «Мне только б жить и видеть росчерк грубый твоих бровей» — и угадываю, кому они предназначены; вспоминаю, с какой сдержанно-достойной манерой, отдающей стариной и словно бы воспринятой у северных сельских общинников, здоровался он с малознакомыми людьми; вижу его папиросу и неизменно длинное кашне, какие носили в те годы (в стихах говорится: «в кашне измятом, заткнутом за пояс»). Всплывают в памяти хрусткие апрельские сумерки — мы идем близ ломоносовского памятника (тогда вместо фигуры перед университетом стоял высокий бюст), и он читает: «Когда умру, ты отошли письмо моей последней тетке». В те дни эти строки могли быть восприняты за игру воображения. Но они оказались — и очень скоро! — пророческими.

Хорошо помню нашу последнюю встречу в глухом осеннем городке, во глубине России. Николай уже был солдатом, шинель ему выдали не по росту короткую. Он передвигался тогда в какую-то воинскую часть, по назначению. Был молчалив, задумчив, новых стихов не читал — не до стихов было в эти трагические недели. А рядом с Колей шагал, тоже в солдатской шинели, длинный, сутулый, неуклюжий, в толстых роговых очках его товарищ и однокурсник, добрый-предобрый Арчил Джапаридзе...

«Есть в голосе моем звучание металла», — писал Николай Майоров в стихотворении «Мы», которое торжественно словно бы произнесено им от имени всего своего необычайно чистого и горячего поколения, так рано шагнувшего в огонь войны. Сын рабочего, скромный, внешне неприметный, но, по его же словам, «удивительно прямой» духом, Майоров нес в себе глубочайшее чувство патриота. Доброволец 1941 года, он

стал пулеметчиком, политруком. В феврале 1942 года он пал смертью храбрых в тяжелых боях на Смоленщине. Было ему тогда двадцать три года. Он еще не закончил к тому времени ни университета, ни Литературного института. Место гибели его в точности не установлено. «Я не знаю, у какой заставы вдруг умолкну в завтрашнем бою», — сказано в его стихах.

Николай не успел опубликовать в большой печати ни одного своего стихотворения. Подготовленный в начале 1941 года сборник стихов, где наряду с Майоровым выступали и его товарищи-литкружковцы, в свет не вышел. Пробиваться начинающим на страницы журналов в ту пору было куда труднее, чем ныне.

Теперь Николай Майоров, замечательный поэт и воин, отдавший свою жизнь за Родину, запечатлен в сознании многих и многих читателей. Первая книга стихотворений Майорова, бережно собранных его друзьями, появилась в 1962 году в издательстве «Молодая гвардия». Она была удостоена премии Ивановского областного комитета комсомола. Там же, в Иванове, именем Николая Майорова названа улица, его имя присвоено пионерской дружине в школе, где учился поэт. Стихи Николая Майорова по праву заняли свое место в различных антологиях и поэтических сборниках.

Есть во всем этом что-то поистине горделивое: не пропадет майоровский стих, не скроет облик Майорова летящее время!

Николай Банников

МЫ

Это время
трудновато для пера.

В. Маяковский

Есть в голосе моем звучание металла.
Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.
Не все умрет. Не все войдет в каталог.
Но только пусть под именем моим
Потомок различит в архивном хламе
Кусок горячей, верной нам земли,
Где мы прошли с обугленными ртами
И мужество, как знамя, пронесли.
Мы жгли костры и вспять пускали реки.
Нам не хватало неба и воды.
Упрямой жизни в каждом человеке
Железом обозначены следы —
Так в нас запали прошлого приметы.
А как любили мы — спросите жен!
Пройдут века, и вам солгут портреты,
Где нашей жизни ход изображен.
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах читаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет, в набросках на холсте.
Но время шло. Меняли реки русла.
И жили мы, не тратя лишних слов,
Чтоб к вам прийти лишь в пересказах устных
Да в серой прозе наших дневников.
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь раскрывали ветру. Из ковша
Тянули воду полными глотками
И в женщину влюблялись не спеша.
И шли вперед, и падали, и, еле
В обмотках грубых ноги волоча,
Мы видели, как женщины глядели
На нашего шального трубача.

А тот трубил, мир ни во что не ставя
(Ремень сползал с покатога плеча),
Он тоже дома женщину оставил,
Не оглянувшись даже сгоряча.
Был камень тверд, уступы каменисты,
Почти со всех сторон окружены,
Глядели вверх — и небо было чисто,
Как светлый лоб оставленной жены.
Так я пишу. Пусть неточны слова,
И слог тяжел, и выраженья грубы!
О нас прошла всесветная молва.
Нам жажда зноем выпрямила губы.
Мир, как окно, для воздуха распахнут,
Он нами пройден, пройден до конца,
И хорошо, что руки наши пахнут
Угрюмой песней верного свинца.
И, как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!

1940

ЛЕНИН

Вот снова он предстанет в жестах
Весь — наша воля. Сила. Страсть...
Кругом — народ. И нету места,
Где можно яблоку упасть.
Матрос. И женщина с ним рядом.
Глаза взведя на броневик,
Щекой небритою к прикладу
Седой путиловец преник.
Он рот открыл. Он хочет слышать,
Горячих глаз не сводит он
С того, о ком в газетах пишут,
Что он вильгельмовский шпион.
Он знает: это ложь. Сквозная.
Такой не выдумать вовек.
Газеты брешут, понимая,
Как нужен этот человек

Ему. Той женщине. Матросам,
Которым снился он вчера,
Где серебром бросают осыпь
В сырую ночь прожектора...
И всем он был необходим.
И бредила — в мечтах носила —
Быть может, им и только им
В тысячелетиях Россия.
И он пришел... Насквозь прокурен
В квартирах воздух, кашель зим.
И стало сразу ясно: буря
Уж где-то слышится вблизи.
Еще удар. Один. Последний...
Как галька, были дни пестры.
Гнусавый поп служил обедни.
Справляли пасху. Жгли костры.
И ждали. Дни катились быстро.
Уж на дворе октябрь гостил,
Когда с «Авроры» первый выстрел
Начало жизни возвестил.

1937

ТВОРЧЕСТВО

Есть жажда творчества,
Уменье созидать,
На камень камень класть,
Вести леса строений.
Не спать ночей, по суткам голодать.
Вставать до звезд и падать на колени.
Остаться нищим и глухим навек,
Идти с собой, с своей эпохой вровень
И воду пить из тех целебных рек,
К которым прикоснулся сам Бетховен.
Брать в руки гипс, склоняться на подрамник,
Весь мир вместить в дыхание одно,
Одним мазком весь этот лес и камни

Живыми положить на полотно.
Не дописав,
Оставить кисти сыну,
Так передать цвета своей земли,
Чтоб век спустя все так же мяли глину
И лучшего придумать не могли.

1940

ТОРЖЕСТВО ЖИЗНИ

Рассвет сочился будто в сите,
Когда в звенящем серебре
Рванулся резко истребитель
Косым движением к земле.

Пилот, в бесстрашие шансы взвесив,
Хватался в спешке за рули,
Но все дороги с поднебесья
К суровой гибели вели.

И с жаждой верной не разбиться,
Спасая в виражах мотор,
Хотел он взмыть, но силу птицы
Презрели небо и простор.

Она все тело распластала,
Скользя в пространстве на крыле,
И вспышкой взрыва и металла
Жизнь догорела на земле.

...А сила ветра так же крепла.
Восходом солнца цвел восток,
И на земле сквозь дымку пепла
Пробился утренний цветок.

Уже истлели тело, крылья,
Но жизнь, войдя с людьми в родство,
Презрев пред гибелью бессилье,
Свое справляла торжество.

Как прежде, люди в небо рвались
В упорной жажде высоты.
А в небе гасли, рассыпались
Звезд изумрудные цветы.

И пахли юностью побеги
Ветвей. Прорезав тишину,
Другой пилот в крутом разбеге
Взмыл в голубую вышину.

Мир был по-прежнему огромен,
Прекрасен, радужен, цветист;
И с человеческим сердцем вровень
На ветке бился первый лист.

И, не смущаясь пепла, тлена,
Крушенья дерзостной мечты,
Вновь ликовала кровь по венам
В упорной жажде высоты!

1938

РОЖДЕНИЕ ИСКУССТВА

Приду к тебе и в памяти оставлю
Застой вещей, идущих на износ,
Спокойный сон ночного Ярославля
И древний запах бронзовых волос.
Все это так на правду непохоже
И вместе с тем понятно и светло,
Как будто я упрямее и строже
Взглянул на этот мир через стекло.
И мир встает — столетье за столетьем,
И тот художник гениален был,
Кто совершенство форм его заметил
И первый трепет жизни ощутил.
И был тот час, когда, от стужи хмурый,
И грубый корм свой поднося к губе,
И кутаясь в тепло звериной шкуры,
Он в первый раз подумал о тебе.

Он слышал голос ветра многоустый
И видел своды первозданных скал.
Влюбляясь в жизнь, он выдумал искусство
И образ твой в пещере изваял.

Пусть истукан массивен был и груб
И походил скорей на чью-то тушу.
Но человеку был тот идол люб:
Он в каменную складку губ
Все мастерство вложил свое и душу.
Так, впроголодь живя, кореньями питаюсь,
Он различил однажды неба цвет.
Тогда в него навек вселилась зависть
К той гамме красок. Он открыл секрет
Бессмертья их. И, где б теперь он ни был,
Куда б ни шел, он всюду их искал.
Так, раз вступив в соперничество с небом,
Он навсегда к нему возревновал.
Он гальку взял и так раскрасил камень,
Такое людям бросил торжество,
Что ты сдалась, когда, припав губами
К его руке, поверила в него.
Вот потому ты много больше значишь,
Чем эта ночь в исходе сентября,
Что даже хорошо, когда ты плачешь,
Сквозь слезы о прекрасном говоря.

1939

НА РОДИНЕ

Там не ждут меня сегодня и не помнят.
Пьют чай. Стареют.
Свято чтут
Тесноту пропахших пылью комнат,
Где мои ровесники растут,
Где, почти дверей плечом касаясь,
Рослые заходят мужики
И на стол клеенчатый бросают
Красные, в прожилках, кулаки.

В дымных, словно баня, площадках
Мать им щи с наваром подает.
Мухи бьют с налета об окошко.
Кочет песни ранние поет.
Только в полдень отлетевшим залпом,
Ключьями оборванного сна,
Будто снег на голову, внезапно
Падает на окна тишина.
Пахнут руки легкою ромашкой.
Спишь в траве и слышишь: от руки
Выползают стайкой на рубашку
С крохотными лапками жуки.
Мир встает такой неторопливый,
Весь в цветах, глубокий, как вода.
Даже слышно вечером, как в нивы
Первая срывается звезда.
Людям не приснитсядушный город,
Крик базара, ржанье лошадей,
Ровное теченье разговора...
Люди спят. Распахнут резко ворот.
Мерное дыхание грудей,
Спят они, раскинув руки-плети,
Как колосья без зерна, легки.
Густо лиловеют на рассвете
Вскинутые кверху кадыки.
Видят сны до самого рассвета
И по снам гадают —
Так верней, —
Много ль предстоящим летом
Благодатных выпадет дождей?
Я запомнил желтый подоконник,
Рад тому, что видеть привелось,
Как старик, изверившись в иконе,
Полшепотки соли на ладони
Медленно и бережно пронес.
Будет дождь: роняют птицы перья
Из пустой, далекой синевы.
Он войдет в косые ваши двери
Запахом немолкнувшей травы,
Полноводьем, отдыхом в работе,
С каждым часом громче и свежей.
Вы его узнаете в полете
Небо отвергающих стрижей,

В бликах молний и в гуденье стекол,
В цвете неба, в сухости ракии,
Даже в том, как торопливо сокол
Мимо ваших окон пролетит.

1938

ОДЕССКАЯ ЛЕСТНИЦА

Есть дивные пейзажи и моря,
Цветут каштаны, выросли лимоны.
А между нами, впрочем, говоря,
Я не глотал еще воды соленой.
Не видел пляжа в Сочи, не лежал
На пестрой гальке в летнюю погоду,
Еще ни разу я не провожал
В далекий рейс морского парохода,
Не слышал песен грузчиков в порту.
Не подышал я воздухом нездешним,
Не посмотрел ни разу, как цветут
И зноем наливаются черешни.
Не восходил к вершине с ледорубом,
Не знал повадок горного орла.
Еще мои мальчишеские губы
Пустыня древним зноем не сожгла.
Ташкента не узнал, не проезжал Кавказа,
Не шел гулять с ребятами на мол.
Еще одесской лестницей ни разу
Я к морю с чемоданом не сошел.
Мне двадцать лет. А Родина такая,
Что в целых сто ее не обойти.
Иди землей, прохожих окликаая,
Встречай босых рыбацек на пути,
Штурмуй ледник, броди в цветах по горло,
Ночуй в степи, не думай ни о чем,
Пока веревкой грубой не растерло
Твое на славу шитое плечо.

1939

ПОСЛЕ ЛИВНЯ

617.541

Когда подумать бы могли вы,
Что, выйдя к лесу за столбы,
В траву и пни ударит ливень,
А через час пойдут грибы?
И стало б видно вам отселе,
Лишь только ветви отвести,
Когда пойдет слепая зелень
Как в лихорадке лес трясти.
Такая будет благодать
Для всякой твари! Даже птицам
Вдруг не захочется летать,
Когда кругом трава дымится,
И каждый штрих непостоянен,
И лишь позднее — тишина..
Так ливень шел, смещая грани,
Меняя краски и тона.
Размыты камни. Словно бивни,
Торчат они, их мучит зуд;
А по земле, размытой ливнем,
Жуки глазастые ползут.
А детвора в косоворотках
Бежит по лужам звонким, где,
Кружась, плывет в бумажных лодках
Пристрастье детское к воде.
Горит земля, и пахнет чаша
Дымящим пухом голубей,
И в окна входит мир, кипящий
Зеленым зельем тополей.
Вот так и хочется забыться,
Оставить книги, выйти в день
И, заложив углом страницу,
Пройтись босому по воде.
А после — дома, за столом,
Сверкая золотом оправы
Очков, рассказывать о том,
Как ливни ходят напролом,
Не разбирая, где канавы.

1939

ВЕСЕННЕЕ

Я шел, веселый и нескладный,
Почти влюбленный, и никто
Мне не сказал в дверях парадных,
Что не застегнуто пальто.

Несло весной и чем-то теплым,
А от слободки, по низам,
Шел первый дождь,
Он бился в стекла,
Гремел в ушах,
Слепил глаза,
Летел,
Был слеп наполовину,
Почти прямой. И вместе с ним
Вступала боль сквозная в спину
Недомоганием сплошным.

В тот день еще цветов не знали,
И лишь потом на всех углах
Вразбивку бабы торговали,
Сбывая радость второпях.
Ту радость трогали и мяли,
Просили взять,
Вдыхали в нос,
На грудь прикалывали,
Брали
Поштучно,
Оптом
И вразнос.
Ее вносили к нам в квартиру,
Как лампу, ставили на стол,
Лишь я один, должно быть, в мире
Спокойно рядом с ней прошел.

Я был высок, как это небо,
Меня не трогали цветы.
Я думал о бульварах, где бы
Мне встретилась случайно ты,
С которой я лишь понаслышке,
По первой памяти знаком —

Дорогой, тронутый снежком,
Носил твои из школы книжки.

Откликнись, что ли!
Только ветер
Да дождь, идущий по прямой...
А надо вспомнить —
Мы лишь дети,
Которых снова ждут домой,
Где чай остыл,
Черствеет булка...
Так снова жизнь приходит к нам
Последней партой,
Переулком,
Где мы стояли по часам...

Так я иду, прямой, просторный,
А где-то сзади, невпопад,
Проходит детство, и валторны
Словами песни говорят.

Мир только в детстве первозданен,
Когда, себя не видя в нем,
Мы бредим морем, поездами,
Раскрытым настезь в сад окном,
Чужою радостью, досадой,
Зеленым льдом балтийских скал
И чьим-то слишком белым садом,
Где ливень яблоки сбивал.

Пусть неуютно в нем, неладно,
Нам снова хочется домой,
В тот мир простой,
Как лист тетрадный,
Где я прошел, большой, нескладный
И удивительно прямой.

1938

Брату Алексею

Ты каждый день уходишь в небо,
А здесь — дома, дороги, рвы,
Галдеж, истошный запах хлеба
Да посвист праздничной травы.

И, как ни рвусь я в поднебесье,
Вдоль стен по комнате кружа,
Мне не подняться выше лестниц
И крыш восьмого этажа.

Земля, она все это помнит,
И хоть заплачь, сойди с ума,
Она не пустит дальше комнат,
Как мать, ревнива и пряма.

Я за тобой закрою двери,
Взгляну на книги на столе,
Как женщине, останусь верен
Моей злопамятной земле.

И через тьму сплошных догадок
Дойду до истины с трудом,
Что мы должны сначала падать,
А высота придет потом.

Нам ремесло далось не сразу —
Из тьмы неверья, немоты
Мы пробивались, как проказа,
К подножью нашей высоты.

Шли напролом, как входят в воду:
Жизнь не давалась, но ее,
Коль не впрямую, так обходом
Мы все же брали, как свое.

Куда ни глянь — сплошные травы,
Любая боль была горька.
Для нас, нескладных и упрямых,
Жизнь не имела потолка.

1939

МОЙ ОТЪЕЗД

Мы рано вышли на вокзал. Хотелось плакать.
Я уезжал всего с единым свертком
В вагоне, от которого несло кочевьем,
Чужою жизнью, спальней и еще
Таким, чего не мог бы я понять,
Когда б не заспанные лица пассажиров,
Которые глядели из окна.
Шел снег. Он был так ласков и пушист.
Так мягко падал к девушке на веки,
Что даже слезы были ни к чему.
Я посмотрел в глаза ее. Ну что же,
Еще остались письма, от которых
Мог покраснеть бы даже почтальон,
Привыкший, заслепя глаза, на память
Импровизировать несложный лепет писем,
В которых мы (нам это показалось)
О счастье некрасиво говорили.
Вот и звонок. Веселый проводник
Вздыхнет — ему ведь так хотелось
Хотя бы раз сойти за пассажира.

Ну вот и все. Ее глаза просили
Остаться и уйти с вокзала в вечер,
В те дальние немые переулки,
Где люди не могли заметить слез,
Дрожанья рук и сбивчивых ответов,
Которыми я выразил любовь.
И что сказать? Я вспомнил жизнь, в которой
Так мало было настоящих дней.
Пойми меня, — с тобой я понял счастье,
Не то, что в книгах вычитали мы
И о котором в детстве нам твердили.
Я понял жизнь.

Она всегда жестока,
Как пытка непомерная, страшна,
Но это — жизнь. Войду в вагон и людям
О счастье быть влюбленным расскажу.

1939

ТУТ ГОРЬКИЙ ЖИЛ

Тот дом, что смотрит исподлобья
В сплетенье желтых косяков,
Где люди верят лишь в снадобья,
В костлявых ведьм да колдунов,
Где, уставая от наитий,
Когда дом в дрему погружен,
День начинают с чаепитий,
Кончают дракой и ножом;
Где дети старятся до срока,
Где только ноют да скорбят,
Где старики сидят у окон
И долго смотрят на закат,
Где все вне времени и места,
Где лишь кулак имеет вес,
Где перезревшие невесты
Давно уж вышли из невест.
Где все на правду не похоже
И что ни делают — все злость!
Где с первобытным рвением гложут
Нужды заплеванную кость,
Где ближний ближнего обмерит,
Где счастлив тот лишь, кто в гробу,
И где уже никто не верит
Ни в ложь,
 ни в правду,
 ни в судьбу,
Где возведен в закон обычай
Ничтожной горсточкой задир,
Где каждый прав и пальцем тычет,
Что он плюет на здешний мир,
Где нищету сдавили стены,
Где люди треплют языком,
Что им и море по колено,
Когда карман набит битком,
И где лабазник пьет, не тужит,
Вещает миру он всему,
Что он дотоле с богом дружит,
Пока тот милостив к нему,
Где, как в игрушку, в жизнь играют,

Обставив скарედный уют,
Где детям петь не позволяют
И небо видеть не дают,
Где людям не во что одеться,
Где за душой — одни портки,
Где старики впадают в детство,
А дети метят в старики, —
Пусть я хотел, хотел до боли
Пересказать все чередом,
Я не сказал и сотой доли
Того, чем славен этот дом.
Его я видел на экране,
Он в сквозняке, он весь продрог.
Тот дом один стоит на грани,
На перекрестке двух эпох.

1938

* * *

Моя земля — одна моя планета,
Она живет среди ночей и звезд.
Мне говорят, что путь бойца-поэта
В ее ночах не очень будет прост.
Но я иду.

1938

ОБРЫВ

Страсти крут обрыв,
Отойдите, — будьте добры.

В. Маяковский

Чрез заросли полыни и крапивы
Мы шли вдвоем.
Дыханье пало с губ.
Шуршал песок, и где-то под обрывом

Кончалась ночь, которая в мозгу
Еще живет, еще пестрит и рушит
Те доводы и ссылки на ничто,
Которых нет понятнее и суше...

Я рядом шел. Она в моем пальто
Казалась лучше. Ей оно пришлось,
Как сну — фантазия и как слепому — посох.
А ветер в ночь, разбросанно и косо,
Сносил зеленый дым ее волос.

Мы шли вдвоем.
Шуршал и падал гравий.
А где-то там, за мельницей, внизу
Пал водопад, и в пенистой оправе
Обрушил в ночь блестящую слезу.

А мы все шли. И нам казалось мало.
Обрыв был близок.
Вот он.
И в пролет
Глядит скула старинного обвала.
И что-то тянет вниз.
Аукает.
Зовет.
И грусть была, какой я сроду не пил.
Немело горло в спазмах немоты.
А сердце горько таяло, как пепел
Нахлынувшей внезапно темноты.

...Бывает так: стоишь, себя не помня,
Забыв годам и письмам женским счет,
Когда все краше, ярче и огромней
Мир прожитого в памяти встает.

1940

* * *

В тот день, когда я был еще не твой,
В содружестве с кочевьем и вокзалом
Я думал жизнь прожить, а под Москвой
Еще был лед и пахло снегом талым,

Еще с утра по дачным этажам
Летел галдеж, детей душила зависть,
И гребни льдин, подобные ножам,
Еще в речные отмели вонзались.

Еще художник, холст в окне развесив,
Соразмерял свой вид на карандаш,
Чтоб догадаться, был ли интересен
Плашмя на землю брошенный пейзаж.

И, может быть, того весна хотела,
Что в этот день, без повода, без дела
Бродя по комнатам, не видя зла ни в чем,
Стекло в окне, в которое глядела,
Ты продавila розовым плечом.

1940

ЧТО ЗНАЧИТ ЛЮБИТЬ

Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И все ж любить ее — такую!
Забыть про дом и сон,
Про то, что
Твоим обидам нет числа,
Что мимо утренняя почта
Чужое счастье пронесла.
Забыть последние потери,
Вокзальный свет,
Ее «прости»
И кое-как до старой двери,
Почти не помня, добрести,
Войти, как новых драм зачатые.
Нашупать стены, холод плит...
Швырнуть пальто на выключатель,
Забыв, где вешалка висит.
И свет включить. И сдвинуть полог
Крамольной тьмы. Потом опять

Достать конверты с дальних полок,
По строчкам письма разбирать.
Искать слова, сверяя числа.
Не помнить снов. Хотя б крича,
Любой ценой дойти до смысла.
Понять и сизнова начать.
Не спать ночей, гнать тишину из комнат,
Сдвигать столы, последний взять редут,
И женщин тех, которые не помнят,
Обратно звать и знать, что не придут.
Не спать ночей, недосчитаться писем,
Не чтить посулов, доводов, похвал
И видеть те неснившиеся выси,
Которых прежде глаз не достигал, —
Найти вещей извечные основы,
Вдруг вспомнить жизнь.
В лицо узнать ее.
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,
Уйти, забыть и возвратиться снова.
Моя любовь — могущество мое!

1939

АВГУСТ

Я полюбил весомые слова,
Просторный август, бабочку на раме
И сон в саду, где падает трава
К моим ногам неровными рядами.

Лежать в траве, желтеющей у вишен,
У низких яблонь, — где-то у воды,
Смотреть в листву прозрачную
И слышать,
Как рядом глухо падают плоды.

Не потому ль, что тени не хватало,
Казалось мне, вселенная мала?
Движения замедленны и вялы,
Во рту иссохло. Губы как зола.

Куда девать сгорающее тело?
Ближайший омут светел и глубок —
Пока трава на солнце не сгорела,
Войти в него всем телом до предела
И ощутить подошвами песок!

И в первый раз почувствовать так близко
Прохладное спасительное дно —
Вот так, храня стремление одно,
Вползают в землю щупальцами корни,
Питая щедро алчные плоды
(А жизнь идет!), — все глубже и упорней
Стремление пробиться до воды,
До тех границ соседнего оврага,
Где в изобилие, с запахами вин,
Как древний сок, живительная влага
Ключами бьет из почвенных глубин.

Полдневный зной под яблонями тает
На сизых листьях теплой лебеды.
И слышу я, как мир произрастает
Из первозданной матери — воды.

1939

* * *

Здесь все не так.
Здесь даже день короткий.
У моря тоже свой диапазон.
И мнится мне — моя уходит лодка,
Впиваясь острым краем в горизонт.
Я буду плыть. Забуду дом и берег,
Чужие письма, встречи, адреса,
Забуду землю, где цветут поверья,
Где травы меркнут раньше, чем леса.
Мне только б плыть,
Мне надо очень мало:
Простор и море, искорку огня
Да имя то, которым называла
Ты у шального берега меня.
Вот и сейчас мне мнится —

На закате
Уходит лодка. Верный взмах весла.
И тот же голос слышится, и платье
То самое, в котором ты была.
Придет гроза,
И встанет ночь в прибое.
Последний довод к жизни истребя,
Доколе плыть я буду за тобою,
За светлым небом, блузкой голубою?
Иль, может, вовсе не было тебя?

1939

* * *

Я был ее. Она еще все помнит
И скрип дверей, и поворот ключа,
Как на руках носил ее вдоль комнат,
Стихи про что-то злое бормоча.
Как ни хитри,
Она еще не смела
Забить тот шепот,
Неземную блажь,
И, как бы зло она ни поглядела,
Ты за нее не раз еще отдашь
И сон, и музыку,
И книги с полок,
И даже верность будущей жены.
Она твоя, пока еще ты молод
И нет в твоём уюте тишины.

1940

* * *

Я лирикой пропах, как табаком,
и знаю — до последнего дыханья
просить ее я буду под окном,

как нищий просит подаянья.
Мне надо б только: сумрак капал,
и у рассвета на краю
ночь, словно зверь большой,
на лапы
бросала голову свою...

1938

* * *

Заснуть. Застыть.
И в этой стыни
смотреть сквозь сонные скачки
в твои холодные, пустые,
кошачьи серые зрачки.

В бреду, в наплыве идиотства,
глядя в привычный профиль твой,
искать желаемого сходства
с той. Позабытой. Озорной.
И знать, что мы с тобою врозь
прошли полжизни
тьмой и светом
сквозь сонм ночей весны —
и сквозь
неодолимый запах лета.

И все ж любить тебя,
как любят
глухие приступы тоски, —
как потерявший чувство красок
любил безумный,
страшный Врубель
свои нелепые мазки.

1938

ВОЛК

Когда раздался выстрел, он
еще глядел в навес сарая,
в тот гиблый миг не понимая,
что смерть идет со всех сторон.

Он падал медленно под креном
косоного резкого угла.
Еще медлительней по венам
кровь отворенная текла.

Сбежались люди, тишь нарушив
плевком холодного ствола.
А под его тяжелой тушей
уже проталина цвела.

И рядом пыж валялся ватный
у чьих-то в мех обутих ног,
и потеплел — в багровых пятнах —
под теплой лапою ледок...

Уже светало. Пахло хлебом,
овчиной, близким очагом.
А рядом волк лежал и в небо
смотрел тоскующим зрачком.

Он видел все: рассвет и звезды,
людей, бегущих не спеша,
и даже этот близкий воздух,
которым больше не дышать.

Голодной крови теплый запах
тревожил утреннюю рань,
и нервно сокращалась в лапах
рывками мускульная ткань.

Бежали судороги в теле,
в снег ртутью падала слеза,
а в небо синее смотрели
большие серые глаза...

1938

В ВАГОНЕ

Пространство рвали тормоза.
И ночь пока была весома,
Все пассажиры были за
То, чтоб им спалось как дома.

Лишь мне не снилось, не спалось.
Шла ночь в бреду кровавых марев
Сквозь сон, сквозь вымысел и сквозь
Гнетущий привкус дымной гари.

Все было даром, без цены,
Все было так, как не хотелось, —
Не шел рассвет, не снились сны,
Не жглось, не думалось, не пелось.

А я привык жить в этом чреве:
Здесь все не так, здесь сон не в сон.
И вся-то жизнь моя — кочевье,
Насквозь прокуренный вагон.

Здесь теснота до пота сжата
Ребром изломанной стены,
Здесь люди, словно медвежата,
Впвалку спят и видят сны.

Их где-то ждут. Для них готовят
Чай, постели и тепло.
Смотрю в окно: ночь вздохи ловит
Сквозь запотевшее стекло.

Лишь мне осталось грустить.
И, перепутав адрес твой,
В конце пути придумать стих
Такой тревожный, бредовой...

Чтоб вы, ступая на перрон,
Познали делом, не словами,
Как пахнет женщиной вагон,
Когда та женщина не с вами.

1939

* * *

Все к лучшему. Когда прошла гроза,
Когда я в сотый раз тебе покаюсь,
Мне не страшны ни плечи, ни глаза,
Я даже губ твоих не опасуюсь.

Начнешь злословить? Пригрозишь отравой?
Про нашу быль расскажешь людям ложь?
Иль пронесешь за мной худую славу
И подлецом последним назовешь?

Мне кажется, что не пройдет и года,
Как в сумерки придешь ко мне опять
Зачем-то долго медлить у комода
И пепельницей в зеркало бросать.

Почто дается буйство милым людям?
Когда пройдет оно и, наконец,
Мы все пойдем и больше бить не будем
Ни пепельниц, ни стекол, ни сердец?

1940

* * *

Мне нравится твой светлый подбородок
И как ты пудру на него кладешь.
Мальчишку с девятнадцатого года
Ты театральным жестом обоймешь.

А что ему твое великолепье
И то, что мы зовем — сердечный пыл?
Дня не прошло, как вгорячах на кепи
Мальчишка шлем прострелянный сменил.

Ты извини его — ведь он с дороги.
В ладони въелась дымная пыльца.
Не жди, пока последние ожоги
Сойдут с его скуластого лица.

1940

* * *

Когда умру, ты отошли
Письмо моей последней тетке,
Зипун залатанный, обмотки
И горсть той северной земли,
В которой я усну навеки,
Метаясь, жертвуя, любя
Все то, что в каждом человеке
Напоминало мне тебя.
Ну, а пока мы не в уроне
И оба молоды пока,
Ты протяни мне на ладони
Горсть самосада-табака.

1940

В ГРОЗУ

Он с моря шел, тот резкий ветер,
Полз по камням и бил в глаза.
За поворотом свай я встретил
Тебя. А с моря шла гроза.
Кричали грузчики у мола,
И было ясно: полчаса
Едва пройдет, как сон тяжелый,
И вздрогнет неба полоса.
И гром ударит по лебедкам.
Мне станет страшно самому.
Тогда, смотри, не выйди к лодкам:
В грозу и лодки ни к чему.
А ты пришла. Со мной осталась.
И я смотрел, запрятав страх,
Как небо, падая, ломалось
В твоих заплаканных глазах.
Смешалось все: вода и щебень,
Разбитый ящик, пыль, цветы.
И, как сквозные раны в небе,
Разверзлись молнии. И ты
Все поняла...

1939

СТИХИ ПРО СТЕКОЛЬЩИКА

Что надо стекольщику, кроме пустых рам?
Со стульев вскакивают рыжие управдомы,
Когда старик пронесит по дворам
Ящик, набитый стеклянным громом.
А мир почти ослеп от стекла.
И люди не знают о том, — вестимо!
Что мать Серафимом его нарекла
И с ящиком по свету шляться пустила.
На нем полосатые злые порты.
В кармане краюшка вчерашнего хлеба.
Мальчишки так разевают рты,
Что можно подумать — проглотят небо.
Они сбегаются с дач к нему.
Им ящик — забава. Но что с мальчишек?
Прослышал старик, что в каком-то Крыму
Люди заводят стеклянные крыши.
Он флигель оставил. Свистя на ходу,
Побрел ноздреватой тропой краснотала...
Стекольщик не думал, что в этом году
В лондонских рамах стекла не хватало.

1940

КАК ВОРУЮТ НЕБО

Случайно звезды не украл дабы
Какой-нибудь праздный гуляка,
Старик никому не давал трубы,
Ее стерегла собака.

Был важен в службе хозяйский пес,
Под ним из войлока теплый настил.
Какое дело кобелю до звезд
И до прочих небесных светил?

А небом старик занимался сам —
Ночью, когда холодеет воздух,
Он подносил его ближе к глазам
И рылся в еще не остывших звездах.

Мальчишки понять не могли, засыпая:
Что ищет в небе старик ворожей?
Должно быть, ворота небесного рая,
А может быть, просто пропавших стрижей?

Он знал его лучше, чем тот квартал,
В котором живет, занимая флигель.
Он звезды, как годы, по пальцам считал —
О них он напишет умные книги.

А парень, на небо взглянув некстати,
Клялся, теребя у любимой ручонки,
Что завтра сошьет он из неба платье
И подарит его глупой девчонке.

А девушке — что?
Ей приятна лесть.
Дышит парень табачным дымом.
Она готова ни пить, ни есть,
Только б на звезды глядеть с любимым.

Старик не думал, что месяц спустя
В сыром убежище, где-то в подвале,
Куда его силой соседи прогнали,
Услышит, как глухо бомбы свистят.

...Рядом труба лежит без охраны:
Собаку убило осколком снаряда.
Тот парень погиб, говорят, под Седаном,
И девушке платья теперь не надо.

А небо — в плену у стальных ястребят,
Трамвай ищут, укрыться где бы...
О горе, старик, когда у тебя
Украла целую четверть неба!

1940

ПАРИЖ ВЕСНОЙ 1940 ГОДА

В такую ночь пройдохам снится хлеб,
Они встают, уходят в скверы раньше,

А жуликам мерещится все, где б
Пристроиться к веселой кастелянше.

Что им война, когда они забыли
Гостиницы, где сгнили этажи,
Где, если хочешь, с женщиной лежи,
А хочешь — человеку закажи
Подать вина, что родиной из Чили.

Что им теперь подзвездные миры,
Тяжба пространств, кометы-величины,
Коль нет у них ни женщины, ни чина,
А есть лишь положенье вне игры.

В ушах — все ливень, сутолока, гул,
И невдомек им, запропавшим пешим,
Что дождь давно в ту сторону свернул,
Где люди под зонтами прячут плечи.

Есть теплый шарф, цветные макинтоши,
Но не для тех, кто на бульваре наг,
Тем все равно: французы или боши.
Что победителю с таких бродяг?
У них отнимут отдых,

а на кой
Им эта дрема и чужой покой?

Их выгонят на улицы под плети,
Они простудятся и будут спать во рву.
Но разве можно у таких, как эти,
Отнять родное небо и траву?

Не надо им отечества и короля,
Они в глаза не видели газеты,
Живут подачками, как будто для
Одних пройдох вращается Земля
И где-то гибнут смежные планеты!

1940

* * *

Тогда была весна. И рядом
С помойной ямой на дворе,

В простом строю равняясь на дом,
Мальчишки строились в каре
И бились честно. Полагалось
Бить в спину, в грудь, еще — в бока,
Но на лицо не поднималась
Сухая детская рука.

А за рекою было поле.
Там, сбившись в кучу у траншей,
Солдаты били и кололи
Таких же, как они, людей.
И мы росли, не понимая,
Зачем туда сошлись полки:
Неужли взрослые играют,
Как мы, сходясь на кулаки?

Война прошла. Но нам осталась
Простая истина в удел,
Что у детей имелась жалость,
Которой взрослый не имел.
А ныне вновь война и порох
Вошли в большие города,
И стала нужной кровь, которой
Мы так боялись в те года.

1940

ОТЦАМ

Я жил в углу. Я видел только впалость
Отцовских щек. Должно быть, мало знал.
Но с детства мне уже казалось,
Что этот мир неизмеримо мал.

В нем не было ни Монте-Кристо,
Ни писем тайных с желтым сургучом.
Топили печь, и рядом с нею пристав
Перину вспарывал штыком.

Был стол в далекий угол отодвинут.
Жандарм из печки выгребал золу.

Солдат худые, сгорбленные спины
Свет заслонили разом. На полу —
Ничком отец. На выцветшей иконе
Какой-то бог нахмурил важно бровь.
Отец привстал, держась за подоконник,
И выплюнул багровый зуб в ладони,
И в тех ладонях застеклилась кровь.
Так начиналось детство...
Падая, рыдая,
Как птица, билась мать.
И, наконец,
Запомнилось, как тают, пропадают
В дверях жандарм, солдаты и отец...
А дальше — путь сплошным туманом застлан.
Запомнил: толькоплыли облака
И пахло деревянным маслом
От желтого, как лето, косяка.

Ужасно жгло. Пробило все навывлет
Жарой и ливнем. Щедро падал свет.
Потом войну кому-то объявили,
А вот кому — запомятовал дед.

Мне стал понятен смысл отцовских вех.
Отцы мои! Я следовал за вами
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
Глаза мои не обожгло слезами.
Глаза мои обращены на всех.

1938

ИЗБА

Косая. Лапами в забор
Стоит. И сруб сосновый воеет,
Когда ветра в нутро глухое
Заглянут, злобствуя, в упор.

Зимой вся в инее и стуже,
Ослабив стекла звонких рам,
Живот подтягивая ту же,
Глядит на северный буран.

Кругом безлюдье. Хоть кричи!
Стоит, как на дороге нищий.
И тараканы стаяй рыщут
В пустой отдушине печи.

Метели подползают ближе.
И вдруг рванут из-под плетня,
Холодным языком оближут
В хлеву хозяйского коня.

А сам хозяин, бледнолицый,
Окутан кем-то в бедный холст,
Лежит в гробу на половицах,
В окамененье прям и прост.

В окошко свет скупой бросая,
Глядит луна в его судьбу,
И ветры жутко потрясают
Его сосновую избу.

Здесь, по соседству с белым гробом,
В ногах застывших мертвеца,
За полночь я родился, чтобы
Прославить мертвого отца.

Чуть брезжил свет в разбитых окнах,
Вставал, заношенный до дыр,
Как сруб, глухой и душный мир,
Который был отцами проклят,
А нами перевернут был.

1938

БАЛЛАДА О ЧКАЛОВЕ

Всего неделю лишь назад
Он делал в клинике доклад.

Он сел за стол напротив нас,
Потом спросил: «Который час?»

Заговорив, шел напролом,
И стало тесно за столом.

И каждый понял, почему
Так тесно в воздухе ему.

И то ли сон, горячка то ль,
Но мы забыли вдруг про боль.

Понять нельзя и одолеть,
Как можно в этот день болеть.

Врачи забыли про больных,
И сестры зря искали их.

Иод засох и на столе
Лежал как память о земле,

Где людям, вышедшим на смерть,
Хоть раз в году дано болеть.

Докладчик кончил. И потом
Он раны нам схватил бинтом,

Он проводил нас до палат.
Ушел. И вот — пришел назад.

И врач склонился над столом,
Над ним — с поломанным крылом.

И было ясно, что ему
Теперь лекарства ни к чему.

И было тихо. Он лежал
И никому не возражал.

Был день, как он, и тих и прост,
И жаль, что нету в небе звезд.

И в первый раз спокойный врач
Не мог сказать сестре: «Не плачь».

1938

ПЕСНЯ

Ее сложил маляр, а впрочем,
Она, быть может, потому
Портовым нравилась рабочим,
Что за нее вели в тюрьму.
Ломали пальцы, было мало —
Крошили зуб, грозили сжечь.
Но и в огне не умирала
Живая песенная речь.
Матросы взяли песню эту
И из своей родной земли,
Бродя волной морской по свету,
В чужую землю завезли.
А тот маляр потом был сослан.
Бежал. На озере одном
Он пойман был, привязан к веслам
И вместе с лодкой шел на дно.
И, умирая, вспомнил, видно,
Свой край, и песню, и жену.

Такую песню петь не стыдно,
Коль за нее идут ко дну.

1939

ПАМЯТНИК

Им не воздвигали мраморной плиты.
На бугорке, где гроб землей накрыли,
Как ощущение вечной высоты,
Пропеллер неисправный положили.

И надписи отгранивать им рано —
Ведь каждый, небо видевший, читал,
Когда слова высокого чекана
Пропеллер их на небе высекал.

И хоть рекорд достигнут ими не был,
Хотя мотор и сдал на полпути —

Остановись, взгляни прямее в небо
И надпись ту, как мужество, прочти.

О, если б все с такою жаждой жили!
Чтоб на могилу им взамен плиты
Как память ими взятой высоты
Их инструмент разбитый положили
И лишь потом поставили цветы.

1938

БЫЛЬ ВОЕННАЯ

Ночь склонилась над рожью,
Колос слепо ловит тьму.
Ветер тронул мелкой дрожью
Трав зеленую кошму.

Тишина котенком бродит
От реки до дальних троп.
У соседки в огороде
Дремлет ласковый укроп.

Мой товарищ курит трубку,
Говорит не торопясь.
О боях, о жаркой рубке
Начинается рассказ.

Только вот глаза прикрою,
Память снова говорит.
Под днепровскою волною
Не один товарищ спит.

И пройди по всем курганам —
Бой кровавый не забудь,
И курганы носят раны
От снарядов и копыт.

Мы не раз за трубкой вспомним
Быль военную годов,

Как в упор в каменоломню
К нам тянулось семь штыков.

Как прорвались мы гранатой —
Все снесли в огонь и дым.
Даже мост спиной горбатой
Встал в испуге на дыбы.

...Мой товарищ, мой ровесник,
Мой любимый побратим,
Этой славы, этой песни
Никому не отдадим.

1936

ЧАСЫ

Я не знаю, час который.
Летний день уходит в дым.
Может, нам расстаться скоро,
Может, часик посидим?
Против озера большого
У смеющейся воды
Запоем с тобою снова,
Что мы оба молоды.
Не гляди в часы. Не надо.
Я часам твоим не рад.
Ниагарским водопадом
Брызги времени летят.
И подумай — кто осудит?
Прогуляем до росы.
Может, бросим и забудем
Расставанье и часы?
С ветром ночь уже шепталась,
Падал с трав кристалл росы.
Но любовь не умещалась
Ни в слова и ни в часы.

1937

В МИХАЙЛОВСКОМ

Смотреть в камин. Следить, как уголь
Стал незаметно потухать.
И слушать, как свирепо вьюга
Стучится в ставни.

И опять

Перебирать слова, как память,
И ставить слово на ребро
И негритянскими губами
Трепать гусиное перо.
Закрывать глаза, чтоб злей и резче
Вставали в памяти твоей
Стихи, пирушки, мир и вещи,
Портреты женщин и друзей,
Цветных обоев резкий скос,
Опустошенные бутылки,
И прядь ласкаемых волос
Забытой женщины, и ссылки,
И все, чем жизнь ее пестра,
Как жизнь восточного гарема.
...И досидеться до утра
Над недописанной поэмой.

1937

АПРЕЛЬ

Ту улицу Московской называли.
Она была, пожалуй, не пряма,
Но как-то по-особому стояли
Ее простые, крепкие дома,
И был там дом с узорчатым карнизом
Купалась в стеклах окон бирюза.
Он был насквозь распахнут и пронизан
Лучами солнца, бьющими в глаза.
По вечерам — тягуче, неумело
Из-под шершавой выгнутой руки
Шарманка что-то жалостное пела —
И женщины бросали пятаки.
Так детство шло.

А рядом, на базаре,
Народ кричал. И фокусник слепой
Проглатывал ножи за раз по паре.
Вокруг — зеваки грудились толпой.
Весна плыла по вздыбившимся лужам.
Последний снег — темнее всяких саж —
Вдруг показался лишним и ненужным
И портившим весь уличный пейзаж.
Его сгребли. И дворники, в холстовых
Передниках, его свезли туда,
Где третий день неистово, со стоном
Ломала льдины полая вода.

1937

ЧТО Я ВИДЕЛ В ДЕТСТВЕ

Косых полатей смрад и вонь.
Икона в грязной серой раме.
И среди игрушек детский конь
С распоротыми боками.
Гвоздей ворованных полсвязки.
Перила скользкие. В углу
Оглуший дед. За полночь — сказки.
И кот, уснувший на полу.
Крыльцо, запачканное охрой.
И морды чалых лошадей.
Зашитый бредень. Берег мокрый.
С травой сцепившийся репей.
На частоколе черный ворон
И грядка в сорной лебеде.
Река за хатой у бора,
Лопух, распластаный в воде.
Купанье — и попытка спеться.
На берегу сухая дрожь.
Девчонка, от которой ждешь
Улыбки, сказанной от сердца.

...Все это шло, теснилось в память,
Врывалось в жизнь мою, пока
Я не поймал в оконной раме

В тенетах крепких паука.
О, мне давно дошло до слуха:
В углу, прокисшем и глухом,
В единоборстве билась муха
С большим мохнатым пауком.
И понял я, что век от века,
Не вняв глухому зову мук,
Сосал, впиваясь в человека,
Огромный холеный паук.

И я тогда, давясь от злобы,
Забыв, что ветер гнал весну,
Клялся, упершись в стенку гроба,
В котором отчим мой уснул.
Клялся полатами косыми,
Страданьем лет его глухих,
Отмщеньем, предками босыми,
Судьбой обиженного сына,
Уродством родичей своих, —
Что за судьбу, за ветошь бедствий
Спрошу я много у врага!

Так шло, врывалось в память детство,
Оборванное донага.

1939

ДОЖДЬ ПОШЕЛ

Врешь, сестра, —
Мне жить с тобой не вместе!
Не стыди ты парня,
Что с утра
Потянуло к розовой невесте,
Как к вратам апостола Петра.
Снится мне она в подушках белых,
В желтых лентах,
В бусах из стекла,
И идет от царственного тела
Запах еле слышного тепла.
Вот она!

Ее не жалят змеи,
К ней в ладони падают орлы,
Я б взглянул,
Да глаз поднять не смею,
Что-то веки дуже тяжелы.
Крылья рук ее порозовели.
Чтоб скучать царевне не пришлось,
Там садовник
Гармонист Савелий
Ходит с лейкой
Промеж двух берез.
Грядок нет,
А есть трава густая,
Так густа,
Что только, охнув, лечь...
Слушай — ты!
Садовника оставим,
Не о нем завел я эту речь.
На меня повеяло ветрами.
Золотой,
Нездешней стороны.
...Дождь пошел,
И бьются стекла в раме.
На Неве мосты разведены.

1938

НА ТРАМВАЙНОЙ ОСТАНОВКЕ

Это было, между прочим,
На трамвайной остановке.
Среди ждавших и скучавших
Я свой номер ожидал.
На мотив забытой песни
Подбирал слова — и грустно
На гражданку в белом платье
Посмотрел почти в упор.
И она не отвернулась,
Только вдоль трамвайных линий
Посмотрела и вздохнула.

Я подумал: дома ждут.
На крыльце иль у калитки
Кто-то встретит, потому что
Беззастенчиво и ясно
Загрустила вдруг она.
И приятно очень было
Отвести глаза и снова,
Будто так совсем случайно,
Глянуть прямо ей в лицо.

Мы смущались и краснели.
Только было нам приятно
Друг за другом незаметно
Молча взглядами следить.
И средь ждавших и скучавших
Не нашлось такого парня,
Кто бы сразу все заметил,
Осуждающе взглянув,
Ибо каждый этой ночью,
Заскучав на остановке,
Вероятно и пожалуй,
Думал только о своем.
Ибо все мы возвращались
Этой ночью с карнавала
Кто вдвоем, кто в одиночку,
Кто скучая, кто смеясь.

И, надвинув ниже кепи,
Я увидел — из проулка,
Громко лязгая на стыках,
Шел один пустой трамвай.
Из-за дальности трамвая
Было номера не видно, —
И гражданка в белом платье
Посмотрела на меня.
Я не понял, что сказали
Мне глаза ее, но только
Различил едва я номер
И узнал, что он не мой.
На гражданку в белом платье
Я взглянул — она входила
В двери узкие трамвая
И смотрела на меня.

И трамвайными звонками
Вдруг рассыпалось счастье.
Среди ждавших и скучавших
Я остался вдруг один.

1938

ИСТОРИЯ

Она пропахла пылью вековой,
ветрами лет. И ныне на меня
глядит бумагой древней гербовою,
случайно уцелевшей от огня.
А было все:

и зябких листьев вздохи,
и сабель свист, и шепот конопли.
Как складки лба, изрытые отроги
легли в надбровья сплюснутой земли.

Прошли века. Но ночью вдруг я внемлю:
вновь душу рвет нам азиатский гик...
И тишина... И падают на землю
мои густые, твердые шаги.

1936

ВЗГЛЯД В ДРЕВНОСТЬ

Там — мрак и гул. Обломки мифа.
Но сказку ветер окрылил:
Кровавыми руками скифа
Хватали зори край земли.

Скакали взмыленные кони,
Ордой сменялася орда.
И в этой бешеной погоне
Боялись отставать года...

И чудилось — в палящем зное
Коней и тел под солнцем медь

Не уставала над землею
В веках событиями греметь.

Менялось все: язык, эпоха,
Колчан, кольчуга и копье,
И степь травой чертополохом
Позарастала до краев.

...Остались пухлые курганы,
В которых спят богатыри,
Да дней седые караваны
В холодных отблесках зари.

Ветра шуршат в высоких травах,
И низко клонится ковыль.
Когда про удаль Святослава
Ручей журчит степную былль...

Там — мрак и гул. Обломки мифа.
Простор бескрайный, ковыли...
Глухой и мертвой хваткой скифа
Хватали зори край земли.

1937

* * *

Забудем то, что полюбилось людям.
Уйдем туда, где ветер да столбы,
где лес пророс до берега. Забудем
весь этот мир отчаянной гульбы.
Извечных просьб, сплошных недомоганий,
мир мелких выгод, духоты квартир.
Забудем скуку у подъездов зданий,
где мы встречались часто. Новый мир
иных высот и помыслов распахнут, —
возьми его и ощути на вес.
Уж радостью звериной пахнет
к горе на плечи прикорнувший лес.
И мы пройдем зеленым косогором.
Там поезда идут. Гремят им вспять мосты.
И девушка уехала... А скоро
вот так же, не сказав, уедешь ты.

Тогда опять — тоска несчетных буден.
Придет сосед и выпьет за меня...
Давай уйдем. Уйдем давай. Забудем
пустую прозу завтрашнего дня.

1937

СТОЛ

Пусть не широк он. В пятнах. Пусть.
Но он стоит с таким упорством,
Что забываешь сон и грусть
В уюте мизерном и черством.

С ним по соседству абажур,
Который хлопает глазами,
Когда, усталый, я гляжу
На стол, заваленный стихами.

1938

* * *

Я знал тебя, должно быть, не затем,
Чтоб год спустя, всему кладя начало,
Всем забытьем, всей тяжестью поэм,
Как слез полдн, ты к горлу подступала,

Чтоб, как вина, ты после долго жгла
И что ни ночь — тобою б только мнилось,
Чтоб лишь к концу, не выдержав, могла
Оставить блажь и сдаться мне на милость,

Чтоб я не помнил этой тишины,
Забыл про сны, про небо и про жалость,
Чтоб ни угла, ни окон, ни жены
Мне на твоей земле не оставалось.

Но все не так. Ты даже знать не можешь,
Где началась, где кончилась гроза.
Не так солжешь, не так ладонь положишь,
Совсем по-детски поглядишь в глаза.

А я устал. За мною столько лестниц.
Я перешел ту верную межу,
Когда все мысли сходятся на песне,
Какой, должно быть, вовсе не сложу.

1939

* * *

Мне только б жить и видеть росчерк грубый
Твоих бровей. И пережить тот суд,
Когда глаза солгут твои, а губы
Чужое имя вслух произнесут.
Уйди. Но так, чтоб я тебя не слышал,
Не видел... Чтобы, близким не грубя,
Я дальше жил и подымался выше,
Как будто вовсе не было тебя.

1939

НА РЕКЕ

Плыву вслепую. Многое не вижу,
А где-то есть конец всему и дно.
Плыву один. Все ощутимей, ближе
Земля и небо, слитые в одно.
И только слышно, там, за поворотом
Торчащих свай, за криками людей,
Склонясь к воде с мостков дощатых, кто-то
Сухой ладонью гладит по воде.
И от запруд повадкой лебединой
Пройдет волна, и слышно, как тогда,
Обрушится серебряной лавиной
На камни пожелтевшая вода.
И хорошо, что берег так далеко.
Когда взгляну в ту сторону, едва
Его я вижу. Осторожно, боком
Туда проходит стаями плотва.
А зыбь воды приятна и легка мне...

Плотва проходит рукавом реки
И, обойдя сухой камыш и камни,
Идет за мост, где курят рыбаки,
Я оглянусь, увижу только тело
Таким, как есть, прозрачным, наяву, —
То самое, которое хотело
Касаться женщин, падать на траву,
Тонуть в воде, лежать в песке у мола...
Но знаю я — настанет день, когда
Мне в первый раз покажется тяжелой
Доныне невесомая вода.

1939

* * *

Дыша табачным перегаром,
смежив усталые глаза,
я жду последнего удара
твоих ресниц, моя гроза.

Он близок, тот удар. Он близок.
Я жду, от счастья онемев,
когда ты бросишь этот вызов,
вполоборота посмотрев.

И будет он неотразим,
великолепен, неминуем, —
пощечиной иль поцелуем
он мне уж слышится вблизи.

Как ты, упрям и привередлив,
я жду...
Молчанье. Вздохи лишь.
Ударь, ударь: опасно медлить,
когда над пропастью висишь...

Окно и осень. Стены в пакле.
Ширяет ветер — лют и храбр...
Тобою дни мои пропахли,
как стеарином канделябр.

1938

* * *

По какой тропинке —
не припомню,
только шел я, как идут ко дну.
Словно к плахе,
было нелегко мне
подходить к забытому окну.

Вот и дом. Цветов встает засада.
Белая сыпучая сирень
протянула руки с палисада —
уцепились ветви за плетень.

И не дрогнет за дорогой тополь,
не стряхнет
холодный пот росы...
И легли в траве высокой тропы,
как плетенья девичьей косы.

1938

* * *

Никто не спросит, не скостит,
Не упрекнет обидным словом,
Что стол мой пятнами изрыт,
Как щеки мальчика рябого.
Я спал на нем. Кому-то верил.
И писем ждал. Знать, потому,
Захлопнув поплотнее двери,
Я стал завидовать ему.
Живу с опаской. Снов не знаю.
Считаю даты. Жду весны.
А в окна, будто явь сквозная,
Летят, не задевая, сны.
Проходят дни, и все короче,
Все явственней и глуше мне
Поет мой стол, и чертят ночи
Рисунок странный на стекле.

И в тонких линиях ваянья,
Что в ночь выводит по стеклу,
Так много слез и обаянья,
Пристрастия вечного к теплу,
Что я теряюсь и немею.
Я нем почти. Почти в снегу.
Сказать хочу — и не умею,
Хочу запеть — и не могу.

1938

ПУШКИН

Ты не видел небо Абиссинии, —
чахлая российская гроза
захлестнула болью синие,
крепко загрузившие глаза.

И на чем глазам остановиться
в этом мире, злобном и пустом,
если вся жандармская столица
указует на тебя перстом.

Если псы всех тайных отделений,
ополчившись в скученном строю,
в зверском аракчеевском равнении
топчут жизнь прекрасную твою?

...Ты сидишь, кусая злобно перья,
а ослабший северный закат
проползает комнатой до двери.
День ушел, чтоб не прийти назад!

День ушел — и жизнь опять короче:
вновь дороги, степи, деревца,
и ямщик допеть тебе не хочет
этой песни, грустной до конца.

Не на смех ли от царя досталось
юнкерские почести носить?
Хоть спросить бы, комкая усталость,
много ли тебе еще осталось
сочинять, встречаться, колесить?..

1937

ГОГОЛЬ

...А ночью он присел к камину
и, пододвинув табурет,
следил, как тень ложилась клином
на мелкий шашечный паркет.

Она росла и, тьмой набухнув,
от желтых сплюснутых икон
шла коридором, ведшим в кухню,
и где-то там терялась. Он
перелистал страницы снова
и бредить стал. И чем помочь,
когда, как черт иль вий безбровый,
к окну снаружи липнет ночь,
когда кругом — тоска безлюдья,
когда такие холода,
что даже мерзнет в звонком блюде
вечор забытая вода?

И скучно, скучно так ему
сидеть, в тепло укрыв колени,
пока в отчаянном дыму,
дрожа и корчась в иступленьи,
кипят последние поленья.

Он запахнул колени пледом,
рукой скользнул на табурет,
когда, очнувшись от бреда,
нащупал глазом слабый свет
в камине. Сердце было радо
той тишине.

Светает — в пять.
Не постучавшись, без доклада
ворвется в двери день опять.

Вбегут докучливые люди,
откроют шторы, и тогда
все в том же позабытом блюде
чуть вздрогнет кольцами вода.

И с новым шорохом единым
растает на паркете тень,
и в оперенье лебедином
у ног ее забьется день...

Нет, нет, ему не надо света!
Следить, как падают дрова,
когда по кромке табурета
рука скользит едва-едва...

В утробе пламя жажду носит
заметить тот порыв один,
когда сухой рукой он бросит
глухую рукопись в камин.

...Теперь он стар. Он все прощает
и, прослезясь, глядит туда,
где пламя жадно поглощает
листы последнего труда.

1939

КАК Я ЛЮБИЛ

Как я любил, о том расскажут после.
Но ведь искусство жить совсем не в том,
Чтоб ловко, мать, уметь казаться взрослым
И женщину любить с красивым ртом.

Все это было и давно минуло.
Любовь коверкала, ломала, жгла
И — кончилась. И наша Мариула
С бродячими цыганами ушла.

Нам песни петь, а ей сквозь снег и слякоть
Водить медведя на цепи, навзрыд
Кричать в лицо прохожим, но не плакать,
Мир и от слез не вздрогнет, устоит.

* * *

На третьей полке сны запрещены.
Худой, небритый, даже злой от хмеля,
Спал Емельян вблизи чужой жены
В сырую ночь под первое апреля.
Ему приснилась девка у столба,
В веснушках нос, густые бабьи косы.
Вагон дрожал, как старая изба,
Поставленная кем-то на колеса.

1939

КОМНАТА

Вот она. Возьми ее в ладони
и согрей. Потом — одушеви.
Путано. Тревожно. Как в вагоне,
до ногтей прокуренном, — живи.

Так живи,
чтоб каждый день твой выжил
из дремотной комнатной пыли,
чтобы где-то этажом лишь ниже
про тебя злословили жильцы:
тети в кофтах. Пожилые дяди.

Так живи, чтоб плакать привелось
ради дружбы с песнею и ради
чьей-то пряди спутанных волос.

Ночь пройдет. Она заденет краем
абжур. А ты останься нем.
Тени гибнут. Горбятся. Играют.
Тени умирают на стене.

1940

* * *

Я с поезда. Непроспанный, глухой.
В кашне измятом, заткнута за пояс.

По голове погладь меня рукой.
Примись ругать. Обрато шли на поезд.
Грозись бедой, невыгодой, концом.
Где б ни была — в толпе или в вагоне, —

Я все равно найду,
Уткнусь лицом
В твои, как небо, светлые
Ладони.

1940

ХУДОЖНИК

Ник. Шеберстову

Одно художник в сердце носит:
на глаз проверенным мазком
пейзаж плашмя на землю
бросить

и так оставить. А потом
все взвесить, высчитать,
измерить,

насытиться ошибкой всласть,
почти узнав, почти поверив,
к концу опять в безверье впасть.
И так все дни.

И с риском равным
быть узанным, взглянуть в окно.
Весь мир
принять вдруг за подрамник,
в котором люди — полотно.
И дать такую волю кисти,
так передать следы земли,
чтоб в полотне живые листья
шумели, падали, цвели.

1939

ТЕБЕ

Тебе, конечно, вспомнится несмелый
и мешковатый юноша,
когда
ты надорвешь конверт армейский белый
с «осьмушкой» похоронного листа...

Он был хороший парень и товарищ,
такой наивный, с родинкой у рта.
Но в нем тебе не нравилась
одна лишь
для женщины обидная черта:

он был поэт, хотя и малой силы,
но был,
любил
и за строкой спешил.
И как бы ты ни жгла
и ни любила, —
так, как стихи, тебя он не любил.

И в самый крайний миг перед атакой,
самим собою жертвуя, любя,
он за четыре строчки Пастернака
в полубреду отдать бы мог тебя!

Земля не обернется мавзолеем...
Прости ему: бывают чудачки,
которые умрут, не пожалев,
за правоту прихлынувшей строки.

1940

* * *

Я не знаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню... и опять —

Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.

1940

* * *

Когда к ногам подходит стужа
в глазах блеснет пыткой —
как будто морозное стекло,
вместе с посланной открыткой
ты отослал последнее тепло.

А между тем все жизненно
и просто,
и в память входит славой на века
тяжелых танков
и острый блеск холодного штыка.

1941

* * *

Нам не дано спокойно сгнить в могиле —
Лежим навывтяжку и, приоткрыв гробы,
мы слышим гром предутренней пальбы,
призыв охрипшей полковой трубы
с больших дорог, которыми ходили.

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
и ждем приказа нового. И пусть
не думают, что мертвые не слышат,
когда о них потом и говорят.

1941

СОДЕРЖАНИЕ

Николай Банников. Памяти отважного друга	3
Мы	9
Ленин	10
Творчество	11
Торжество жизни	12
Рождение искусства	13
На родине	14
Одесская лестница	16
После ливня	17
Весеннее	18
«Ты каждый день уходишь в небо...»	20
Мой отъезд	21
Тут Горький жил	22
«Моя земля — одна моя планета...»	23
Обрыв	23
«В тот день, когда я был еще не твой...»	24
Что значит любить	25
Август	26
«Здесь все не так...»	27
«Я был ее. Она еще все помнит...»	28
«Я лирикой пропах, как табаком...»	28
«Заснуть. Застыть. И в этой стыни...»	29
Волк	30
В вагоне	31
«Все к лучшему. Когда прошла гроза...»	32
«Мне нравится твой светлый подбородок...»	32
«Когда умру, ты отошли...»	33
В грозу	33
Стихи про стекольщика	34
Как воруют небо	34
Париж весной 1940 года	35
«Тогда была весна. И рядом...»	36

Отцам	37
Изба	38
Баллада о Чкалове	39
Песня	41
Памятник	41
Быль военная	42
Часы	43
В Михайловском	44
Апрель	44
Что я видел в детстве	45
Дождь пошел	46
На трамвайной остановке	47
История	49
Взгляд в древность	49
«Забудем то, что полюбились людям...»	50
Стол	: 51
«Я знал тебя, должно быть, не затем...»	51
«Мне только б жить и видеть росчерк грубый...»	52
На реке	52
«Дыша табачным перегаром...»	53
«По какой тропинке...»	54
«Никто не спросит, не скостит...»	54
Пушкин	55
Гоголь	56
Как я любил	57
«На третьей полке сны запрещены...»	58
Комната	58
«Я с поезда. Непроспанный, глухой...»	58
Художник	59
Тебе	60
«Я не знаю, у какой заставы...»	60
«Когда к ногам подходит стужа пыткой...»	61
«Нам не дано спокойно сгнить в могиле...»	61

от
Д

Майоров Николай Петрович
МЫ. М., «Молодая гвардия», 1972.
64 с. («Имена на поверке».)

P2

Редактор М. Беляев
Художник В. Ушаков
Художественный редактор А. Романова
Технический редактор Г. Каплан
Корректоры: Т. Пескова, Г. Василёва

Сдано в набор 21/IV 1972 г. Подписано к печати
9/VIII 1972 г. А06999. Формат 70×90¹/₃₂. Бумага № 2
Печ. л. 2 (усл. 2,34). Уч.-изд. л. 2,9. Тираж 20 000 экз.
Цена 30 коп. Т. П. 1972 г., № 310. Заказ 649.

Типография издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвар-
дия». Москва, А-30, Сущевская, 21.



30 коп.



Молодая гвардия

